**ГОГОЛЬ И ПАСПОРТ**

От автора

Корпус эссе - такой подзаголовок представляется мне наиболее уместным здесь. Именно корпус, а не цикл. Потому что слово “цикл” (в интересующем нас значении) предполагает, согласно трактовке словарей, законченный ряд каких-либо произведений. “Корпус” же, как толкует Даль, это “собрание однородных в одно целое”. О законченности речи нет. Гоголиана не может быть закончена. Личность Гоголя не поддается окончательному прояснению, и потому Гоголиана остается открытой. Причем, открытой для любого автора, который готов ее расширять. Мне, например, хотелось бы увидеть в составе корпуса такие эссе, как “Гоголь и болезни”, “Гоголь и огонь”, “Гоголь и смерть”. Я буду очень рад, если мне удастся написать их самому. Но мне будет радостно увидеть их и написанными кем-то другим, кому близок мой взгляд на Гоголя как на особую персону в истории русской литературы, - такую персону, в которой явно просматриваются черты художественного персонажа, созданного жизнью. Добавлю к этому, что жизнь, или, если так можно выразиться, фантазия жизни, поработала над образом русского писателя Гоголя до того искусно, что для частной авторской фантазии почти не остается места.

Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспрепятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую минуту 1846 года, когда Гоголю, вдруг явилась на ум необыкновенная мысль - испросить себе у императора Николая Павловича... заграничный паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвышенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, к Гробу Господню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо.

“Всемилостивейший Государь!

Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от многотрудных дел моей, может быть неуместной просьбой”. - Так начиналось это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте к царю Николаю I.

Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность, - не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейливых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим паспортом находился во все время заграничных странствий его подданный, сочинивший “Мертвые души”. Об этом имели представление только те редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним дилижансом сквозь государства Европы, да негусто расставленные по аккуратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, которым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратиться к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: “Извольте предъявить ваш паспорт, сударь!”

Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность отношений между Гоголем и паспортом.

Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но Гоголь не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и как бы обиженно отворачивался в сторону. И вдруг объявлял полицейскому на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что никакого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется.

Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь стоял на своем: “не дает, да и только” - досадливо вспоминает издатель “Москвитянина” Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Европы из-за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предательски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя в попутчиках. Он тоже (напряженно хмурясь и краснея) не показывал паспорт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык менялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по-русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно-нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые извинения своей возлюбленной. - Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясными и спокойным глазами прямо в глаза полицейскому, он, “на чем свет стоит”, как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, потом “императора австрийского, его министерство”, потом “всех гонфалоньеров и подест”, словом, все высшие и высочайшие власти стран, распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) излюбленной Италии. - Полицейского охватывало противоречивое чувство. Его одновременно и смущала и завораживала непрекращающаяся музыка слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и растерянно подавал тихий голос, не обращаясь, уже ни к кому в особенности: “Господа... попрошу... паспорта...”. А Гоголь тем временем не умолкая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-попутчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он вспрыгивал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогался и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: “Господа... паспорта...”.

Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой паспорт, не желая его даже выпускать из рук. Хотя на эту мысль и наводят слова Погодина, который подчеркивает, что “Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже что когда ездит один, то никогда не показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами.” Всё так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе. И об этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт находился при нем очень близко. “Теперь - представьте себе, - пишет Погодин, - что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под руку, и наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: “На тебе паспорт, ешь его!””

А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только полицейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину, и теперь уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад, - отказывался от него так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя.

Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о паспорте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нессельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненный великан, обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт необыкновенный, исполинский, - не по своим размерам, а по заключенной в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!

Послание далось Гоголю наредкость легко. Во всяком случае, оно было очень коротким и цельным. Гоголь быстро - в два предложения - перелетел вступление и, уже не скрывая огня, писал:

“Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочайшем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, где буду проходить я.”

В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в земной реальности:

“Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!

Двойными узами законного благоговения и вечной признательности сердца связанный с Вами

верноподданный Ваш

Николай Гоголь.”

В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредоточенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поручено Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свойства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существовало в природе... Впрочем, одному только Богу известно, что говорили между собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но составленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувтвуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков:

“Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы просите, у нас никогда и никому не выдавалось...”

Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь и его министры не обладали способностями богов... Но если бы произошло? Или скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием всевозможным чиновникам - и таможенным, и полицейским, и даже таким, которые паспорта никогда и не требуют?..

Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с прежними паспортами. А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверенностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графини Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а стало быть, и гоголевской гордыне.

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже - в качестве чистого первообраза всех паспартов на свете - платоновским небесам.

**Статья Владислава Отрошенко**